

Николай Добролюбов

**О степени участия
народности в развитии
русской литературы**



Николай Александрович Добролюбов О степени участия народности в развитии русской литературы

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3086235*

Аннотация

«...литература, при всех своих утратах и неудачах, осталась верною своим благородным преданиям, не изменила чистому знамени правды и гуманности, за которым она шла в то время, когда оно было в сильных руках могучих вождей ее. Теперь никого нет во главе дела, но все дружно и ровно идут к одной цели; каждый писатель проникнут теми идеями, за которые лет десять тому назад ратовали немногие, лучшие люди; каждый, по мере сил, преследует то зло, против которого прежде возвышалось два-три энергических голоса. То, что было тогда достоянием немногих передовых людей, перешло теперь во всю массу людей образованных и пишущих...»

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

13

Николай Александрович Добролюбов

О степени участия народности в развитии русской литературы

«Очерк истории русской поэзии» А. Милюкова. Второе, дополненное издание. СПб. 1858 г.

Книжка г. Милюкова – наша старая знакомая. Первое издание ее было в 1847 г., и тогда же она была оценена по достоинству в наших журналах. Новое издание этой книги приятно напомнило нам время первого ее появления и заставило подумать о том, что произошло в нашей литературе в последнее десятилетие. По-видимому, ничего не произошло особенного: в 1847 г. высказывались идеи и стремления, совершенно близкие к тем, какие высказываются в 1858 г. Книжка г. Милюкова может служить лучшим тому доказательством. Следуя мнениям Белинского о русских литературных явлениях, г. Милюков составил тогда очерк развития русской поэзии, – и этот очерк до сих пор не теряет своей правды и значения. Тогда находил он хорошими только те явления русской поэзии, в которых выражалось сатирическое направление; и теперь не нашел он ничего, что можно бы было похвалить у нас вне сатирического направления. Тогда заключил он свой очерк словами Лермонтова: «Россия вся в будущем» – и теперь заключает его теми же словами... Ожидаемое будущее еще не настало для русской литературы; продолжается все то же настоящее, какое было десять лет тому назад... Мы еще в том же гоголевском периоде и напрасно ждем так давно нового слова: для него еще, верно, не выработалось содержание в жизни.

Но если не заметно ничего особенно во внутреннем содержании и характере литературы, зато нельзя не видеть, что внешним образом она развилась довольно значительно. Вспомним, какие люди действовали у нас на литературном поприще в сороковых годах и до 1847 г. включительно. Хотя в этом году Гоголь уже издал «Переписку», но все же он был жив, и надежды на него не покидали его почитателей. За Гоголем возвышался гениальный критик его, энергически громко и откровенно объяснивший России великое значение ее национального писателя. За Белинским высились еще два-три человека, возбуждавшие внимание публики к вопросам философским и общественным^{1}. Под их знаменем ратовала тогда литература против неправды и застоя; от них заимствовала она свою энергию и жизнь.

Теперь тоже литература призывает общество к правде и деятельности, тоже восстает против злоупотреблений, но кто несет наше знамя? Вокруг кого собрались литературные деятели? Из тех, кто одушевлял литературу в сороковых годах,

Иных уж нет, а те далече^{2}.

Из новых же деятелей нет никого, кто бы по своему таланту и влиянию равнялся Гоголю или Белинскому. Теперь нет литературных вождей, подобных прежним; они исчезли один за другим, русская литература утратила их в самый год смерти Белинского или недолго спустя^{3}. Некоторые из них продолжали действовать и после, даже еще в больших размерах, чем прежде; но для большинства русской публики труды их оставались неизвестными

^{1} Добролюбов имеет в виду А. И. Герцена, Н. П. Огарева и их кружок; дать более определенную оценку значения философских и общественно-политических воззрений Герцена Добролюбов не мог по цензурным соображениям.

^{2} Строка из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. VIII, строфа LI).

^{3} К середине 1850-х гг. «из тех, кто одушевлял литературу в сороковых годах», не стало Белинского (умер в 1848 г.), Гоголя (умер в 1852 г.); Герцен с 1847 г. и Огарев с 1856 г. находились в эмиграции.

в эти года. Так Гоголь до конца жизни не переставал работать над своим созданием; но только немногие, близкие к нему люди знали, какое произведение готовит он. До прочих едва доходили темные, неопределенные слухи о продолжении «Мертвых душ». Так было и с некоторыми из других литературных деятелей. Так и до сих пор, после смерти Гоголя и прекращения деятельности Белинского и некоторых его сподвижников, продолжается у нас отсутствие громкого имени, от которого приходила бы в движение литература, которым бы направлялась известным образом ее деятельность.

А между тем кто не видит, что литература, при всех своих утратах и неудачах, осталась верною своим благородным преданиям, не изменила чистому знамени правды и гуманности, за которым она шла в то время, когда оно было в сильных руках могучих вождей ее. Теперь никого нет во главе дела, но все дружно и ровно идут к одной цели; каждый писатель проникнут теми идеями, за которые лет десять тому назад ратовали немногие, лучшие люди; каждый, по мере сил, преследует то зло, против которого прежде возвышалось два-три энергических голоса. То, что было тогда достоянием немногих передовых людей, перешло теперь во всю массу людей образованных и пишущих. Кто не умел или не хотел усвоить себе этих живых уроков недавнего прошедшего, тот уже считается отсталым, отчужденным от общего дела, мертвецом между живыми, и его хоронят заживо, несмотря ни на ученость, ни на талант. Да что же иначе и делать с человеком, который сам зарывает талант свой в землю и мертвой буквой убивает жизнь духа? Бог с ними; пусть сочиняют себе надгробные надписи, долженствующие некогда напомнить об их бессмертии. Живой о живом думает, и нынешняя литература стремится изведать жизнь и на практике приложить и проверить истины, привитые общему сознанию достопамятными деятелями прежних лет. Все проникнуто этим духом, и, – повторим еще раз, – хотя во внутреннем содержании литература не подвинулась вперед, круг идей ее не расширился, но круг приверженцев этих идей значительно увеличился; усвоение их стало тверже и полнее. В этом видим мы внешнее развитие литературы, составляющее прогресс ее в последние десять лет, и несомненную, действительную ее заслугу. Она собственно силою сохранила еще свое достоинство от мелких проделок и жалких поползновений, унижавших в другие времена звание писателя. Она собственно силою завоевала себе этот кружок людей, со всею энергией правды и молодости отдавших себя [на служение] правому делу, чтоб [при первой возможности] честно и правдиво послужить ему. В этом уже немалая заслуга, и она может сделаться громадною, если распространение идей добра и правды будет продолжаться таким же образом и если интересы, возбужденные литературою, проникнут наконец в массы народа. Тогда-то нельзя будет не признать великого значения литературы.

Но это все будущее и, без сомнения, довольно отдаленное. Книга же г. Милюкова дает нам повод проследить значение русской литературы в прошедшем. Кстати, здесь же мы можем объясниться с некоторыми книжниками, которые взводят на «Современник» обвинение, будто он совершенно отвергает всякое значение литературы для общества.

Книжные приверженцы литературы очень горячатся за нее, считая прекрасные литературные произведения началом всякого добра. Они готовы думать, что литература заправляет историей, что она [изменяет государства, волнуется или укрощает народ,] переделывает даже нравы и характер народный; особенно поэзия, – о, поэзия, по их мнению, вносит в жизнь новые элементы, творит все из ничего. В подтверждение своих взглядов они указывают на великие поэмы первых веков человечества, на поэзию индийскую, еврейскую, греческую и на продолжение их в творениях величайших гениев новых времен. «Сколько великих тайн, – говорят они, – поведано миру в великолепных созданиях фантазии юного человечества! Без индийской и персидской поэзии не было бы в человечестве сознания о борении двух начал, добра и зла, во всем мире; без Гомера не было бы Троянской войны, без Вергилия Эней не странствовал бы в Италию, без Мильтона не было бы «Потерянного рая», без Данте – живых

представлений ада, чистилища и рая». Не было бы – это в высшей степени справедливо: все эти прекрасные создания принадлежат творческой фантазии младенчеству народа или увлеченного вдохновением поэта. Но знаете ли что? создания фантазии так ведь и остаются в области фантастических призраков и не переходят в действительность. Несмотря на все величие гомерических рапсодий, героический век, с своими богами и богинями, не явился в Греции во времена Перикла, равно как и в Италии Вергилий, при всем своем красноречии, не мог уже возратить римлян империи к простой, но доблестной жизни их предков и не мог превратить Тиберию в Энея. Мало того – явления, изображенные во всех названных нами поэмах, и сами по себе-то не имеют действительности и с каждым годом все далее отодвигаются в туманный мир призраков... Увы!

...Мечты поэта!

Историк строгий гонит вас!^{4}

Юнона не обольщала Зевса, Афродита не спасала Париса на поле битвы, Афина не обманывала Гектора, Эней не видался с Дидоной, Шива не боролся с Брамой и т. д. Если во всех этих преданиях и есть что-нибудь достойное нашего внимания, то именно те части их, в которых отразилась живая действительность. Самые заблуждения, какие мы в них находим, интересны для нас потому, что некогда они не были заблуждениями, некогда целые народы верили им и по ним располагали жизнь свою. Оттого-то и нравится нам доселе поэзия древнего мира и некоторые фантастические произведения поэтов нового времени, тогда как ничего, кроме отвращения, не возбуждают в нас нелепые сказки, сочиняемые разными молодцами на потеху взрослых детей и выдаваемые нередко за романы, были, драмы и пр. Там видна жизнь своего времени, и рисуется мир души человеческой с теми особенностями, какие производит в нем жизнь народа в известную эпоху; а здесь ничего нет, кроме праздных выдумок, стоящих в разладе с жизнью и происходящих от фантастического, произвольного смешения понятий и верований разных времен и народов. Так, в музыке нравятся нам нередко дикие аккорды, уклоняющиеся от правил музыкальной гармонии, но удачно выражающие какой-нибудь действительно существующий диссонанс в природе; между тем нам дерет уши, а вовсе не производит приятного впечатления, нечаянно сделанная ошибка, когда артист возьмет одну ноту вместо другой. Делая это сравнение, мы хотим сказать, что поэзия и вообще искусства, науки слагаются по жизни, а не жизнь зависит от поэзии, и что все, что в поэзии является лишним против жизни, т. е. не вытекающим из нее прямо и естественно, все это уродливо и бессмысленно. Что отжило свой век, то уже не имеет смысла; и напрасно мы будем стараться возбудить в душе восхищение красотой лица, от которого имеем только голый череп. Боги греков могли быть прекрасны в древней Греции, но они гадки, во французских трагедиях и в наших одах прошлого столетия. Рыцарские воззвания средних веков могли увлекать сотни тысяч людей на брань с неверными для освобождения святых мест; но те же воззвания, повторенные в Европе XIX в., не произвели бы ничего, кроме смеха. Пиндар воспевал олимпийские игры, и вся Греция благоговейно внимала ему; в наше время никто уже серьезно не воспекает церемониальных процессий и торжеств всякого рода; а если и находились господа, воспевавшие излеровские фейерверки и иллюминации на разные случаи, то они всем показались до того пошлы, что даже не возбудили смеха^{5}. Конечно, не поэзия произвела все эти явления в жизни, а жизнь заставила иначе смотреть на поэзию. Пора нам освободить жизнь от тяжелой опеки, налагаемой на нее идеологами. Начиная с Платона, восстают они против реализма и, еще не понявши хорошенько, перепутывают его учение.

^{4} Из стихотворения Пушкина «Герой» (1830).

^{5} Подразумеваются различные «поэтические» отклики на коронацию Александра II.

Непременно хотят дуализма, хотят делить мир на *мыслимое* и *являемое*, уверяя, что только чистые идеи имеют настоящую действительность, а все являемое, т. е. видимое, составляет только отражение этих высших идей. Пора бы уж бросить такие платонические мечтания и понять, что хлеб не есть пустой значок, отражение высшей, отвлеченной идеи жизненной силы, а просто хлеб – объект, который можно съесть. Пора бы отстать и от отвлеченных идей, по которым будто бы образуется жизнь, точно так, как отстали наконец от телеологических мечтаний, бывших в такой моде во времена схоластики. Бывало, ведь добрые люди пренаивно рассуждали, как это удивительно глаз приноровила природа к тому, чтобы видеть: и зрачки, и сеточки, и оболочка – все, точно нарочно, так уж и приделано, чтобы видеть; и никак ведь не хотели сообразить добрые люди, что не потому так глаз устроен, что нам такая крайняя есть необходимость видеть, и видеть именно вверх ногами и в миниатюре; а просто видим мы, и видим так, а не иначе, именно потому, что глаз наш так уж устроен. Или удивлялись, как реки текут: воде, видите, надо всегда вниз бежать, и – непостижимая предусмотрительность природы! – в каждом месте, где река течет, непременно в русле есть склон; ну, вода-то и течет себе свободно... Добрые люди и того не хотели подумать, что река по склону-то именно и течет: не будь его вправо, так она пойдет влево, а не станет дожидаться, куда под нею склон образуется. Нет, по мнению добрых людей, если Волга течет в Каспийское море, так это потому единственно, что она питает особенное, невещественное, идеальное сочувствие к Каспию, и в силу такой идеи она должна была непременно пойти именно до Каспия, хотя бы целые Альпы встретились ей на дороге.

В естественных науках все подобные аллегории давным-давно оставлены; пора бы покончить с ними и в области литературы и искусства. Не жизнь идет по литературным теориям, а литература изменяется сообразно с направлением жизни; по крайней мере так было до сих пор не только у нас, а повсюду. Когда человечество, еще не сознавая своих внутренних сил, находилось совершенно под влиянием внешнего мира и, под влиянием неопытного воображения, во всем видело какие-то таинственные силы, добрые и злые, и олицетворяло их в чудовищных размерах, тогда и в поэзии являлись те же чудовищные формы и та же подавленность человека страшными силами природы. Когда же человек немножко попрыгивал к этим силам и сознал отчасти свое собственное значение, тогда и силы природы стал он представлять антропоморфически, приближая их к себе. Таким образом развивалась поэзия греческая, с своими божествами. В себе человек сознал прежде всего внешние, физические качества – и на первой ступени развития каждого народа являются героические сказания. Сила доставляет одним преимущества, которых лишаются другие; в элемент поэзии входит воспевание того, как один победил другого и какие получил трофеи. Трофеи доставляют победителям возможность давить побежденных своим великолепием, а побежденных заставляют склониться перед силою победителя и признать над собой ее права; в поэзии в это время является восторженная ода, воспевающая покорность рабов и вассалов. Но победители забываются и начинают уж слишком теснить побежденных: является ропот, негодование, и в литературе он выражается сатирой, сначала глухой, действующей намеками – в басне, потом более открыто в сатире лирической и драматической. Возбужденное негодование пробуждает, разумеется, в обеих сторонах взаимные опасения, желание уладить дело к выгоде собственной и как можно больше вытянуть для себя от противной стороны. Это обстоятельство заставляет обратить внимание на устройство общественной и семейной жизни, на отношения одних членов общества к другим, и литература склоняется к общественным интересам. Разнообразие этих интересов и успехи борьбы из-за них определяют дальнейшее развитие литературы. Бывает время, когда народный дух ослабевает, подавляемый силою [победившего класса], естественные влечения замирают на время и место их заступают искусственно возбужденные, насильно навязанные понятия и взгляды в пользу победивших; тогда и литература не может выдержать: и она начинает воспевать нелепые и

беззаконные затеи [класса] победителей, и она восхищается тем, от чего с презрением отвернулась бы в другое время. Так было, например, у немцев в начале прошлого столетия, когда хотели заставить их забыть за разными потехами кровавые передраги предшествовавшего времени,

Подобное тому бывало и у других народов. Но как скоро общество или народ очнется и почувствует, хотя смутно, свои естественные нужды, станет искать средств для удовлетворения своим потребностям – и литература тотчас является служительницей его интересов. И голос ее обыкновенно бывает тем резче, тем тверже, чем более силы приобретает в обществе дело, ею защищаемое. Наоборот не бывает; а если иногда и кажется, будто жизнь пошла по литературным убеждениям, то это иллюзия, зависящая от того, что в литературе мы часто в первый раз замечаем то движение, которое, неприметно для нас, давно уже совершалось в обществе. Иначе и не может быть: откуда вдруг взялись бы, хоть у нас, например, жалобы на злоупотребления чиновников или толки о железных дорогах, если бы в обществе не было давно уже потребности в правосудии и в хороших путях сообщения? [Для того чтобы известная идея высказалась наконец литературным образом, нужно ей долго, незаметно и тихо созреть в умах людей, имеющих прямое, непосредственное соотношение с практической жизнью.] На вопросы жизни отвечает литература тем, что находит в жизни же. Поэтому направление и содержание литературы может служить довольно верным показателем того, к чему стремится общество, какие вопросы волнуют его, чему оно наиболее сочувствует. Разумеется, все это мы говорим о тех случаях, когда голос литературы не стесняется разными посторонними обстоятельствами. Нельзя, напр., думать, что индийцы спокойно смотрят на неистовства англичан, потому что в ост-индских газетах не было, некоторое время, резких статей против английских злоупотреблений. Мы знаем, что причина такого странного спокойствия вполне внешняя – запрещение ост-индского генерал-губернатора. Точно так, зная, что в Австрии почти не выходит порядочных философских книг, нельзя полагать, чтобы немцы, живущие в Австрии, от природы лишены были способности философствовать, которою так богаты их единоплеменники, живущие в других государствах. Не выходит же книг потому, что католические монахи зорко за ними смотрят и стараются не допускать их до печати. Но это явления исключительные, возможные только при австрийской подозрительности да при ост-индском произволе;^{6} большею же частию общественные жизненные интересы тотчас проявляются в литературе, с большею или меньшею сознательностью и ясностью.

Сознательности и ясности стремлений в обществе литература много помогает, – в этом мы ей отдаем полную справедливость. Чтобы не ходить далеко за примерами, укажем на то, чем полна теперь вся Россия, что отодвинуло далеко назад все остальные вопросы, – на изменение отношений между помещиками и крестьянами. Не литература пробудила вопрос о крепостном праве; она взялась за него, и то осторожно, не прямо, тогда только, когда он уже совершенно созрел в обществе; и только теперь, когда он уже прямо поставлен правительством, литература осмеливается прямо и серьезно рассматривать его. Но как ничтожно было участие литературы в возбуждении вопроса, столь же велико может быть ее значение в строгом и правильном его обсуждении. Нам уже много раз приходилось слышать от многих просвещенных помещиков, что теперь необходимо, чтобы люди науки и мысли, равно как и люди жизненного опыта, одинаково приняли на себя труд высказать печатно свои замечания о том, как, по их мнению, лучше устроить это дело, столь важное и благотворное. В этом случае литература незаменима. По нашему мнению, она может принести здесь гораздо более пользы, чем даже открытые публичные совещания. Совещания эти во всяком слу-

^{6} Оговорка об «австрийской подозрительности» и «ост-индском произволе» подразумевала, конечно, подозрительность и произвол царских властей в России.

чае должны иметь более или менее частный характер, и, кроме того, в них слишком много страстности, импровизация нередко заменяет строго последовательное рассуждение и решение. Литературные рассуждения имеют характер всеобщности: их может читать вся Россия. Кроме того, в литературном изложении пыл первого увлечения непременно сглаживается, и место его необходимо заступает спокойная обдуманность, хладнокровное соображение мнений разных сторон и вывод строго логический, свободный от впечатлений минуты. Здесь роль литературы чрезвычайно важна, и великость ее значения ослабляется в этом случае только малостью круга, в котором она действует. Это последнее – такое обстоятельство, о котором невозможно без сокрушения вспомнить и которое обдаёт нас холодом всякий раз, как мы увлечемся мечтаниями о великом значении литературы и о благотворном влиянии ее на человечество.

В самом деле, мы впадаем в страшное самообольщение, когда считаем свои писания столь важными для народной жизни; мы строим воздушные замки, когда полагаем, что от наших слов может переменяться ход исторических событий, хотя бы и самых мелких. Конечно, приятно и легко строить воздушные миры

И уверять и спорить,
Как в них-то важны мы!^{7}

Но сделайте маленький, беспристрастный расчет, и вы увидите, как велико ваше самообольщение. У лучших наших журналов, в которых сосредоточивается вся литературная деятельность, насчитается до 20 000 подписчиков, столько же будет и у газет (хотя подписчики на журналы обыкновенно подписываются и на газеты). Если на каждый экземпляр положить 10 читателей, то окажется 400 000. Можно порадоваться такой цифре, забыв на минуту, что она преувеличена. Но скажите, что же значат эти сотни тысяч пред десятками миллионов, населяющих Россию? Как же живут эти остальные 64 600 000, не читающие наших газет и журналов? Участвуют ли они в тех рассуждениях о возвышенных предметах, какие мы с такою гордостью стараемся поведать миру? Интересуют ли их наши художественные создания, которыми мы восхищаемся? Находят ли они отраду в тех живых мыслях, какие мы высказываем, в наших литературных обличениях, общественных вопросах, поднятых во имя целого человечества? Знает ли это человечество, что мы о нем хлопочем, что мы лезем из кожи, готовы подраться между собой, споря о его благосостоянии?.. [Знают ли крестьяне села Безводного или Многоводного, Затишья или Залесья, что их исправники, становые и управители давно уже преданы суду общественного мнения – в литературных очерках, картинах, воспоминаниях и т. п.? Знают ли они все это и чувствуют ли облегчение своей участи под благотворным влиянием литературы? Да и сами-то исправники, становые и управители знают ли о литературном судилище? Многие слышали, вероятно, а иные, может быть, и сами читали; но большая-то часть, вероятно, не читала. Да и когда им читать? Им надобно службой заниматься; бросить служебных занятий нельзя, потому что они выгоду доставляют; а читаньем ведь сыт не будешь. Если же и случится прочесть кое-что, так каждый поймет по-своему и примет к сведению то, что наиболее приближается к его понятиям.] Можно предполагать, что число негодяев и мошенников, исправленных литературой, крайне ограничено. Кажется, мы не ошибемся, если на сто тысяч общего числа читателей положим одного исправленного негодяя (да и то мы боимся, чтобы читатели не осердились на нас за то, что мы предполагаем в их числе таких нехороших людей; но просим извинения, оправдываясь пословицею: в семье не без урода). Следовательно, все эти столь многие сотни литераторов, проникнутых горячею любовью к добру и еще более горячею ненавистью к

^{7} Из стихотворения Кольцова «Из Горация» (1841).

пороку, все эти доблестные фаланги мирных рыцарей слова должны ограничить круг своих подвигов только *четырьмя* обращениями (да и то сомнительными, заметит читатель). Ту же самую ограниченность круга действий нужно заметить и в тех отделах литературы, которые имеют предметом распространение знаний. Напр., сколько было у нас толков о воспитании и обучении. Толковали преимущественно о школьном воспитании. А сколько народу у нас учиться в школах? Всего-навсего, во всех ведомствах и на всех степенях обучения, с небольшим 350 000 мальчиков да девочек 40 000. Из всего числа их статьи о воспитании были прочитаны, разумеется, только несколькими студентами. Да они, правда, не для воспитанников и назначались, а для учителей. Учителей у нас тысяч 15 (на всю-то Россию!), и можно полагать, что десятая часть из них прочитала то, что было писано о недостатках современного воспитания и обучения. Из этой десятой части половина, наверное, знала еще гораздо раньше то, на что наконец указывает литература; а из остальных одни прочитали и не согласились, а другие согласились, да поняли по-своему, и хорошо, если хоть десятая доля поняла все как следует. Из понявших же, вероятно, не более, опять, как десятина приняла на себя труд приложить писанные мудрости к делу, да из них, дай бог, чтобы хоть десятая часть имела успех. Таким образом, и окажется только полтора человека, в практической деятельности которых проявится благотворное влияние литературы. Результаты не до такой степени блистательные, чтобы за них сочинять себе триумфы, соплетать венки и воздвигать памятники! Напрасно также у нас и громкое название *народных* писателей: народу, к сожалению, вовсе нет дела до художественности Пушкина, до пленительной сладости стихов Жуковского, до высоких парений Державина и т. д. Скажем больше: даже юмор Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа. Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже он и грамоте выучится: он должен заботиться о том, как бы дать средства полмиллиону читающего люду прокормить себя и еще тысячу людей, которые пишат для удовольствия читающих. Забота немалая! Она-то и служит причиною того, что литература доселе имеет такой ограниченный круг действия. Не навязывай мы народу заботы о нашем прокормлении и о всяком нашем удовольствии, так, конечно, мы же были бы в выигрыше: наши просвещенные идеи быстро распространились бы в массах, и мы стали бы иметь больше значения, наши труды стали бы ценить выше. Но, к сожалению, литература, т. е. ее восхвалители и многие деятели находятся в горьком самообольщении, из которого трудно извлечь их. Изобразивши художественным образом красу природы, неба, цвет розово-желтый облаков, или совершивши глубокий анализ какого-нибудь перегороженного сердца, или трогательно рассказавши историю будочника, вынувшего пятак из кармана пьяного мужика, литератор воображает, что он уж невесть какой подвиг совершил и что от его создания произойдут для народа последствия неисчислимые. Напрасно; создание это, во-первых, и не дойдет до народа, а во-вторых, если и дойдет, то нимало не займет его и не принесет ему пользы. Массе народа чужды наши интересы, непонятны наши страдания, забавны наши восторги. Мы действуем и пишем, за немногими исключениями, в интересах кружка, более или менее незначительного; оттого обыкновенно взгляд наш узок, стремления мелки, все понятия и сочувствия носят характер парциальности. Если и трактуются предметы, прямо касающиеся народа и для него интересные, то трактуются опять не с общесправедливой, а с человеческой, не с народной точки зрения, а непременно видах частных интересов той или другой партии, того или другого класса. В нашей литературе это последнее обстоятельство еще не так заметно, потому что вообще у нас в прежнее время мало толковали о народных интересах; но в литературах западных дух парциальности выставляется несравненно ярче. Всякое явление историческое, всякое государственное постановление, всякий общественный вопрос обсуживается там в литературе с различных точек зрения, сообразно интересам различных партий. В этом, конечно, ничего еще нет дурного, — пусть каждая партия свободно выскажет свои мнения: из столкновения разных мнений выходит правда. Но дурно [вот что:

между десятками различных партий почти никогда нет партии народа в литературе]. Так, напр., множество есть историй, написанных с большим талантом и знанием дела, и с католической точки зрения, и с рационалистической, и с монархической, и с либеральной, – всех не перечесть. Но много ли являлось в Европе историков народа, которые бы смотрели на события с точки зрения народных выгод, рассматривали, что выиграл или проиграл народ в известную эпоху, где было добро и худо для массы, для людей вообще, а не для нескольких титулованных личностей, завоевателей, полководцев и т. п.? Политическая экономия, гордо провозглашающая себя наукою о *народном* богатстве, в сущности заботится только о возможно выгоднейшем употреблении и возможно скорейшем увеличении капитала, следовательно, служит только классу капиталистов, весьма мало обращая внимания на массу людей бескапитальных, не имеющих ничего, кроме собственного труда. Несколько голосов поднималось, правда, во Франции в защиту этих беспомощных людей от одностороннего могущества капитала^{8}, но капиталисты назвали эти голоса безумием и сочинили против них великое множество систем, в которых строго-логически доказывали, что никто не имеет права запретить им приумножать свои капиталы посредством труда людей бескапитальных. Да уж что говорить о науках! Даже поэзия, всегда столь сочувствовавшая всему доброму и прекрасному и презиравшая мелкие, своекорыстные расчеты, даже поэзия постоянно увлекалась духом партий и классов и только в немногих частных явлениях возвышалась до точки зрения чисто человеческой, превышающей частные интересы кружков или каких-нибудь особенных личностей. Она избирала всегда возвышенные идеи, возвышенные личности, далеко выдающиеся из толпы, и редко спускалась до простого люда. У греков это еще было так себе, ничего; потому что и жизнь у них была устроена особенным – образом, так что масса народа не исключалась из участия в общем ее ходе. Поэтому и в литературе их, хотя возвышеннейшие роли играют богами, полубогами, царями и героями, с другой стороны, и народ является нередко в виде хора, играющего роль здравого смысла и хладнокровно обсуживающего преступления и глупости [главных] действующих лиц пьесы. В начале греческой поэзии видим мы, правда, взбалмошных Менелаев и Агамемнонов да сладострастных Парисов, из-за которых народы проливают кровь свою; но во время высшего развития греческой цивилизации являются и Аристофановы поселяне. Вообще в греческой поэзии интересы народа уважались еще несколько. Но в Риме находим уже не то: там уже развивается односторонняя государственная идея, и человек имеет значение только как принадлежность Рима. Там уже не трогают страдания народа, не занимают его интересы и радости. Римская поэзия воспекает отвлеченные возвышенные идеи да сильных мужей, вроде того, который не побледнеет, если весь мир станет пред ним разрушаться. Это отталкивающее преклонение пред бесчеловечием мертвит всю поэзию Рима, и человеческое чувство пробуждается в ней почти только для эпикурейских наслаждений. Даже сатира имеет там характер вовсе не гуманный, а или отвлеченный, или лично раздражительный. При императорах народ особенно подвергся презрению; даже слово *vulgaris* (*vulgaire*, собственно: народный) приняло значение пошлого, даже неприличного. В средних веках продолжается та же история, только в более грубом виде. Барды, прославляющие подвиги победителей, да трубадуры и менестрели, воспевающие воинскую доблесть, знатное происхождение и неестественно возвышенные чувства, овладевают всей поэзией. Народ награждается полным презрением; ему за милость только дозволяют любоваться подвигами знатных рыцарей, а уж если придется простому человеку угостить рыцаря, так это такая честь, от которой он весь век должен быть счастлив. В первое время преобладание физической силы было так громадно, страх, нагнанный победителями на побежденных, так был силен, что сам народ как будто убеждался в том, что все эти высокородные бароны и ордалы всякого рода – особы священные, высшей

^{8} Речь идет о французских социалистах-утопистах (Сен-Симон, Фурье и др.).

породы, и что он должен чтить их с трепетом и вместе с радостью. Не одни сановные трубадуры, ездившие с оруженосцами, жонглерами и всякими приспешниками, не одни придворные паразиты, а сам народ наивно воспевал героев, «погубивших более народа, чем жесточайшая чума», и «величавые, недоступные дворцы, у ворот которых стояли львы, как живые, будто готовые поглотить всякого, кто, не приглашенный, дерзнет приблизиться к великолепному жилищу». Скоро, впрочем, народ воспользовался иначе орудием, которое дали ему в руки: в XV веке он решительно изменяет тон и слагает злейшие сатиры на своих притеснителей и на тех, от которых он прежде ждал спасения, но в которых жестоко обманулся, — на католических духовных. У народов Западной Европы до сих пор сильно распространен этот род поэзии, но настоящая, светская, аристократическая литература пренебрегает такой поэзией. Она имеет другие стремления, другой характер: ей нужно сочувствие известных кружков общества, полных своими обыденными заботами и вовсе не беспокоящихся о том, что делалось и делается в остальном человечестве, за пределами их тесного круга. Интересы этих кружков и отражаются в поэтических созданиях новых народов. Если же когда вздумается литератору взглянуть и на свои отношения к массе, то он взглянет на это непременно по-своему, с точки зрения собственных интересов. С течением времени, разумеется, все больше и больше начинают обращать внимание на требования масс, иногда литература и расшумится, если произойдет какое-нибудь заметное столкновение интересов различных классов в самой жизни. Но способ рассуждения, употребляемый в подобных случаях, обыкновенно напоминает графа де-Местра и его книгу о папе^[9]. Граф, как набожный католик и отставной пьемонтский сенатор, рассуждает очень мило. «Народы страдают, — говорит он, — от произвола, жестокости и насилий светской власти; нужно противодействие этой власти. Но сам народ глуп, груб, безнравствен, подл и потому противодействия составить не может. Единственно возможное и действительное средство для его спасения и охранения состоит в том, чтобы обратиться к святейшему папе и признать над собою его духовную и светскую власть...» В таком же роде и современные, хоть бы французские, писатели сочиняют: один мелодраму — для доказательства, что богатство ничего не приносит, кроме огорчений, и что, следовательно, бедняки не должны заботиться о материальном улучшении своей участи; другой роман — для убеждения в том, что люди сладострастные и роскошные чрезвычайно полезны для развития промышленности и что, следовательно, люди, нуждающиеся в работе, должны всей душою желать, чтобы побольше было в высших классах роскоши и расточительности и т. п.

Редко, и то у высших гениев поэзии, являлась чистая любовь к человечеству, не возмущаемая интересами партий. Еще в невежественной Европе XVI века раздались знаменательные слова: «Человек был он»^[10], — и в них выразилось сознание гения о достоинстве человека. В эпоху, близкую к нашей, другой гений той же нации, называемый обыкновенно ненавистником человечества, сказал пророчески, что «пройдет на земле царство меча и невозможны будут поработители»^[11]. Злобными сарказмами мстил недавно торжествующим партиям за германский народ Генрих Гейне, полагавший весь смысл искусства и философии в том, чтобы пробуждать от сна задремавшие силы народа. Все горести и труды бедняков нашли себе живой и полный отголосок в песнях национального французского поэта, которого недавно парижское правительство похоронило с такой официальной торжественностью.

^[9] Речь идет о книге Жозефа де Местра «О папе» (1819).

^[10] Слова Антония о Бруте в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (1600).

^[11] Добролюбов имеет в виду Байрона.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания